

ШАРЛЬ МОРИС ДЕ  
**ТАЛЕЙРАН**



**Жизнь  
без морали**

**ИСКУССТВО  
ДИПЛОМАТИИ**

Весь мир

Шарль Морис де Талейран

**Жизнь без морали.  
Искусство дипломатии**

«Алисторус»

1832-1838

УДК 338  
ББК 65.9(2)

## **Шарль Морис де Талейран**

Жизнь без морали. Искусство дипломатии / Шарль Морис де Талейран — «Алисторус», 1832-1838 — (Весь мир)

ISBN 978-5-00180-209-9

Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное. (Ш. М. де Талейран) Калека от рождения; заядлый картежник и коррупционер; один из самых умных министров иностранных дел, которых знает история; талантливый интриган и безусловно аморальный политический деятель; человек, обладавший не только изворотливым умом, но и редкостным политическим чутьем. Вот кем был автор и главное действующее лицо этой книги. На протяжении без малого полувека он творил историю. Императоры, короли, парламенты, военачальники не могли добиться того, чего добивался Талейран: подчас всего лишь вовремя сказанным словом, нужным акцентом, тонким расчетом. Его имя стало нарицательным, а его жизнь обросла легендами и мифами. Воспоминания легендарного дипломата - это приглашение в мир большой политики, учебник по плетению интриг и искусству переговоров. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 338  
ББК 65.9(2)

ISBN 978-5-00180-209-9

© Шарль Морис де Талейран, 1832-1838  
© Алисторус, 1832-1838

# Содержание

Е. Тарле. Талейран	6
I	6
II	24
Конец ознакомительного фрагмента.	33

**Шарль Морис де Талейран**  
**Жизнь без морали. Искусство дипломатии**

*Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновенно,  
самое благородное.*

*Ш. М. де Талейран*

© ООО «Издательство Родина», 2021

## Е. Тарле. Талейран

### I

Фигура князя Талейрана в памяти человечества высится в том ограниченном кругу людей, которые если и не направляли историю по желательному для них руслу (как это долго представлялось историкам идеалистической и, особенно, «героической» школы), то являлись характерными живыми олицетворениями происходивших в их эпоху великих исторических сдвигов. С этой точки зрения биография Талейрана еще ждет своего исследователя, чтобы заполнить в научной историографии тот пробел, который, например, так блистательно заполнил в литературе о Наполеоне III Маркс в старой, но не стареющей книжке о «Восемнадцатом брюмера Луи-Бонапарта».

Краткая характеристика, которую я попытаюсь тут дать, не преследует и не может преследовать цели представить исчерпывающий анализ исторического значения личности и деятельности Талейрана. Моя задача – лишь подготовить читателя предлагаемых мемуаров к тому, как именно производительнее всего подходить к их чтению. А достигнуть этой цели в данном случае мне возможно только одним способом: обращая внимание читателя не на то, что говорит Талейран, но на то, о чем он умалчивает. Князя Талейрана называли не просто лжецом, но «отцом лжи». И, действительно, никто и никогда не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины, такого умения при этом сохранять величаво небрежный, незаинтересованный вид, безмятежное спокойствие, свойственное лишь самой непорочной, голубиной чистоте души, никто не достигал такого совершенства в употреблении фигуры умолчания, как этот, в самом деле, необыкновенный человек. Даже те наблюдатели и критики его действий, которые считали его ходячей коллекцией всех пороков, почти никогда не называли его лицемером. И, действительно, этот эпитет к нему как-то не подходит, он слишком слаб и невыразителен. Талейран сплошь и рядом делал вещи, которые по существу скрыть было невозможно уже в силу самой природы обстоятельств: взял с американских уполномоченных взятку сначала в два миллиона франков, а потом, при продаже Луизианы, гораздо больше; почти ежедневно брал взятки с бесчисленных германских и негерманских мелких и крупных государей и державцев, с банкиров и кардиналов, с подрядчиков и президентов; потребовал и получил взятку от польских магнатов в 1807 году; был фактическим убийцей герцога Энгиенского, искусно направив на него взор и гнев Наполеона; предал и продал сначала католическую церковь в пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу Александра I<sup>1</sup>, потом Александра I в пользу Меттерниха и Кэстльри; способствовал больше всех реставрации Бурбонов<sup>2</sup>, изменив Наполеону, а после их свержения помогал больше всех скорейшему признанию «короля баррикад» Луи-Филиппа английским правительством и остальной Европой, и так далее без конца. Вся его жизнь была нескончаемым рядом измен и предательств, и эти деяния были связаны с такими грандиозными историческими событиями, происходили на такой открытой мировой арене, объяснялись всегда (без исключений) до такой степени явно своекорыстными мотивами и сопровождались так непосредственно материальными выгодами для него лично, – что при своем колоссальном уме Талейран никогда и не рассчитывал, что простым, обыденным и общепринятым, так сказать, лицемерием он может кого-нибудь в самом деле надолго обмануть уже после совершения того или иного своего акта.

Важно было обмануть заинтересованных лишь во время самой подготовки и затем во время прохождения дела, без чего немислим был бы успех предприятия. А уж самый этот успех должен быть настолько решительным, чтобы гарантировать князя от мести обманутых,

когда они узнают о его ходах и проделках. Что же касается так называемого «общественного мнения», а еще того больше «суда потомства» и прочих подобных чувствительностей, – то он был к ним совершенно равнодушен, и притом вполне искренно, в этом не может быть никакого сомнения.

Вот эта-то черта непосредственно и приводит нас к рассмотрению вопроса о той позиции, которую занял князь Талейран – Перигор, герцог Беневентский и кавалер всех французских и почти всех европейских орденов, в эпоху тех повторных штурмов, которым в продолжение его жизни подвергался родной ему общественный класс – дворянство со стороны революционной в те времена буржуазии.

Он родился в 1754 году, когда только что умер Монтескье<sup>3</sup> и только что успели выступить первые физиократы, когда уже гремело имя Вольтера и начинал Жан-Жак Руссо, когда вокруг Дидро и Даламбера уже постепенно сформировался главный штаб Энциклопедии. А умер – в 1838 году, в эпоху полной и безраздельной победы и установившегося владычества буржуазии. Вся его жизнь протекала на фоне упорной борьбы буржуазии за власть и – то слабой, то свирепой – обороны последышей феодального строя, на фоне колебаний и метаний римско-католической церкви между представителями погибающего феодального строя и побеждающими буржуазными завоевателями, действовавшими сначала во Франции гильотиною, потом вне Франции – наполеоновской «великой армией». Что кроме дворянства, буржуазии и церкви есть еще один (голодающий, а потому опасный) класс людей, который, начиная с апреля 1789 года, с разгрома фабрикантов Ревельона и Анрио, и кончая прериалем 1795 года, много раз выходил из своих грязных троглодитовых пещер и нищих чердаков Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий и, жертвуя жизнью, своим вооруженным вмешательством неоднократно давал событиям неожиданный поворот, – это князь Талейран знал очень хорошо. Знал также, что после 1-го (а особенно после 4-го) прериала 1795 года эти опасные голодные люди были окончательно разбиты, обезоружены и загнаны в свои логовища, причем эта победа оказалась настолько прочной, что вплоть до 26 июля 1830 года, целых тридцать пять лет сряду, ему можно было почти вовсе их не принимать уже в расчет при своих собственных серьезных, то есть карьерных соображениях и выкладках. Это он твердо усвоил себе; знал также, что и после 26 июля 1830 года с этим внезапно вставшим грозно после тридцатипятилетнего оцепенения, голодающим по-прежнему «чудовищем» должно было как-то возиться и считаться всего только около двух недель, а уже с 9 августа того же 1830 года вновь появились те знакомые элементы, с которыми приличному и порядочному человеку, думающему о своей карьере и доходах, всегда можно столковаться и сторговаться: новый король и новый двор, однако с прежними банкирами и прежним золотом. И опять все пошло как по маслу вплоть до мирной кончины в 1838 году, – которая одна только могла, в самом деле, означать серьезный перерыв в этой блистательной карьере и которая поэтому вызвала, как известно, тогда же наивно ироническое восклицание: «Неужели князь Талейран умер? Любопытно узнать, зачем это ему теперь понадобилось!» До такой степени все его поступки казались его современникам всегда преднамеренными и обдуманнами, всегда целесообразными с карьерной точки зрения и всегда в конечном счете успешными для него.

Итак, рабочий класс, кроме указанных моментов, можно ему не принимать во внимание. Крестьянство, то есть та часть его, которая является серьезной силой, в политике активно не участвует и всегда пойдет за теми, кто стоит за охрану собственности и против воскрешения феодальных прав. Значит, остаются три силы, с которыми Талейрану нужно серьезно считаться: дворянство, буржуазия и церковь. Он только попозже окончательно разглядел, что церковь в игре социальных сил играет лишь подсобную, а не самостоятельную роль; но, впрочем, уже с 1789 года при самых серьезных своих шагах он никогда не принимал церковь за власть, способную сыграть, в самом деле, роль ведущую и решающую.

Дворянство и буржуазия – вот две силы, находящиеся в центре событий, те силы, из которых каждая в случае победы может осыпать кого захочет золотом, титулами, лентами, звездами, одарить поместьями и дворцами, окружить роскошью и властью. Но важно лишь не ошибиться в расчете, не поставить ставку на дурную лошадь, – по стародавнему спортивному английскому выражению. Талейран не ошибся.

\* \* \*

Взрыв революции застал Талейрана делающим блестящую карьеру. Он, потомок, правда, очень аристократического и старинного, но обедневшего рода, при отсутствии настоящих серьезных связей – к тридцати четырем годам был уже епископом, кандидатом в кардиналы; вступив в свет без гроша денег, он имел разнообразные и довольно значительные, хотя и очень неверные доходы, пополняемые удачными финансовыми спекуляциями. Правда, положением своим он был недоволен. Вступив в духовное звание исключительно потому, что вследствие несчастного случая в детстве сломал ногу, охромел и был неспособен к военной службе, – он ненавидел свой священнический сан всеми силами души и делал все, чтобы заставить себя и других забыть о нелепом костюме, который должен был носить. Он вел светскую жизнь, имел несколько любовных связей с аристократическими и неаристократическими дамами, вел жизнь отчасти царедворца, отчасти биржевого спекулянта; но, несмотря на ловкое добывание денег (тут же спускаемых на женщин, на кутежи и карты), ничего похожего на сколько-нибудь прочный, обеспеченный капитал у него не было и в помине вплоть до самого начала революции. И, кроме того, было уже к тому времени налицо еще одно неприятное и беспокойное обстоятельство: его ближние успели за это время довольно хорошо раскусить молодого и преуспевающего епископа. «Это человек подлый, жадный, низкий интриган, ему нужна грязь и нужны деньги. За деньги он продал свою честь и своего друга. За деньги он бы продал свою душу, – и он при этом был бы прав, ибо променял бы навозную кучу на золото», – так отзывался о нем за два года до революции, в 1787 году, Мирабо<sup>4</sup>, имевший несчастье нуждаться в дорого купавшихся услугах Талейрана. Есть еще и еще отзывы в том же роде. Никто не отрицал громадных умственных способностей этого человека, но и никто не сомневался в полной готовности его на любой, самый черный поступок, если это может принести ему выгоду.

К чему он стремился? Что в нем было сильнее? Честолюбие или корыстолюбие? Подавляющее большинство современников полагало, что корыстолюбие, и документы, которые мы теперь знаем, но которых они не знали, вполне это подтверждают. «Прежде всего – не быть бедным», – прежде всего. Этот совет-афоризм неоднократно высказывался Талейраном. Проходят Бурбоны, проходят Дантоны и Робеспьеры, проходят Директории и Бонапарты; но земли и дворцы и франки (если они в золотой чеканке) – остаются. Что земли и франки тоже (изредка) подвергаются большой опасности, в особенности пока не загнаны в свои трупы и не обезоружены люди Сент-Антуанского предместья, это Талейран тоже хорошо понимал, но именно потому он и не сомневался, что на его веку, по крайней мере, эти опасные для него люди всегда будут в конечном счете загоняться в свои пещеры. Значит, об этом нечего и говорить, – и можно для практических целей, при деловых соображениях считать земли и франки – вечными благами, а титулы и министерские кресла – преходящими.

Власть для него – большая ценность, только власть и дает деньги, это главная ее функция; конечно, власть дает сверх того и приятное ощущение внешнего почета и могущества, – но это уже на втором плане.

Точно то же можно сказать и о женщинах, в которых некоторые биографы видели другую основную страсть Талейрана. Женщины хороши главным образом потому, что чрез их посредство и протекцию можно легче и скорее всего добиваться назначения на хорошие (то

есть доходные) места. Правда, женщины и сами по себе дают сверх того много хороших минут, но это для Талейрана тоже было на втором плане.

И власть и женщины нужны прежде всего для достижения богатства. Деньги, деньги, – все остальное приложится. Если мы взглянем внимательно в поступки и движения Талейрана, мы увидим, что от этого основного принципа он никогда не уклонялся, – не в пример всем прочим своим «принципам». Вот первая, молодая, предреволюционная эпоха его жизни, первые его тридцать пять лет. Известны классические слова Талейрана: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни» («la douceur de la vie»). Этой сладости ничуть не мешали такие досадные обстоятельства, что, во-первых, у Талейрана не было никакой власти и, во-вторых, была довольно твердо установленная репутация сомнительного дельца, если даже не просто мошенника. Зато были в изобилии женщины и, если не в изобилии, в довольно большом количестве деньги; женщины помогали его карьере, помогали ему пробираться на весьма теплые местечки по части расчетного баланса католического духовенства с правительством, женщины облегчали добывание нужных сведений и связей по бирже, по подрядам, по откупам, по спекуляциям; женщины создавали ему успех во влиятельных салонах.

Что же касается репутации, то эта статья – заметим с самого начала – занимала Талейрана чрезвычайно мало. И в переходные эпохи, когда дворянско-феодалный класс и поддерживаемый им политический строй все больше и больше вынуждаются не только считаться с напором буржуазии, но и брать к себе на службу, включать в служилое сословие людей новых общественных слоев, в эпохи, подобные, например, последним предреволюционным десятилетиям Франции XVIII века или России конца XIX и начала XX века, – это чуть ли не намеренное, презрительное бравированье «общественным мнением» становится явлением весьма характерным и почти обыденным, и именно для представителей отходящего, гибнущего аристократического класса. Стоит ли считаться с общественным мнением, когда его представляют какие-то неведомые разночинцы? Появляется цинизм откровенности, прежде немислимый. И при Людовике XIV министры воровали весьма часто и обильно. Но только при Людовике XVI, за пять лет до взятия Бастилии, на вопрос: «Как вы решились взять на себя управление королевскими финансами, когда вы и свои личные дела совсем расстроили?» – генеральный контролер Калонн осмелился с юмором ответить: «Потому-то я и взялся заведовать королевскими финансами, что личные мои финансы уж очень оказались расстроены». Процветало казнокрадство и взяточничество в России и при Александре I и при Николае I, но только в период между 1 марта 1881 года и 28 февраля 1917 года на слова подрядчика: «Я дам вашему превосходительству три тысячи, – и никто об этом и знать не будет», – стал возможен переданный потомству директором Горного департамента К.К. Скальковским классический ответ его превосходительства: «Дайте мне пять тысяч и рассказывайте кому хотите». В подобной атмосфере, свойственной предреволюционным эпохам, проходила молодость Талейрана. Кого ему было стесняться? Спекулянты, биржевики, откупщики, факторы – весь этот люд, кишевший на rue Vivienne, – и от которого так зависел молодой аббат, а потом епископ в своих аферах, – считал удачное мошенничество высшим проявлением ума и таланта. Мирабо, так в Талейране разочаровавшийся, сам был не очень чист на руку, при дворе – все покупалось, продавалось и выменивалось. Стесняло досадное долгополое аббатское платье, стесняло, что хоть деньги и плыли в руки, но уплывали так же быстро и даже еще быстрее. На вечный праздник роскоши, на женщин, на вино и на карты иногда не хватало; стесняло в особенности сознание, что досадное платье, во-первых, нельзя никак до конца жизни сбросить с плеч, во-вторых, если бы и было возможно по каноническому праву, то немисливо по бюджетным соображениям: епископу отенскому, завтрашнему кардиналу, наживать деньги было несравненно легче и удобнее, чем простому князю Талейрану. Вот это в самом деле, как мы знаем фактически, заставляло изредка пригорюниваться Талейрана. Правда, эти минуты неприятного раздумья приходили

редко. «Сладость жизни» от этого в общем для него не уменьшалась, Но вот грянула революция.

Предвидел ли Талейран революцию? Ее предвидели и не такие проницательные умы, но мало кто предсказал хотя бы в общих чертах ее развитие и ее формы; пресловутое пророчество Казотта о казни королевской семьи и гибели всех его собеседников-аристократов является сочиненным впоследствии, хотя оно и прельстило историка Ипполита Тэна, а еще до Тэна вдохновило Лермонтова («На пиршестве задумчив он сидел...»). Пиршества, на которых так часто сживал Талейран, не омрачались никакими зловещими пророчествами. Этому избалованному легкою и беспечальною жизнью кругу людей революция еще весною 1789 представлялась интересной пикировкой просвещенных умов с придворными реакционерами и с их главной покровительницей королевой Марией-Антуанеттой, состязанием в красноречии на разные великодушные и популярные темы, а также перераспределением мест, пенсий, министерских портфелей; а потом, когда наступит к концу лета каникулярный перерыв, то члены Генеральных штатов разъедутся на отдых по своим деревням и замкам, где и будут пожинать лавры за свои либеральные подвиги среди облагодетельствованных ими поселян. Самая деятельность созванных на 5 мая 1789 года в Версаль Генеральных штатов вовсе не представлялась протекающей в атмосфере ожесточенной, а тем более вооруженной борьбы. Но уже очень скоро, уже в первые недели после начала заседаний, Талейран стал ясно видеть, что надвигаются такие времена, когда и бесполезно и опасно сидеть между двух стульев и когда наибольшая ловкость заключается именно в самой отчетливой постановке вопроса. Что третье сословие подавляюще, вне всяких сравнений, сильнее двух других и в Генеральных штатах и везде, это он понял с первых дней, а поэтому, как он сам говорит, «оставалось лишь одно разумное решение – уступить до того, как к этому принудят силою и пока еще можно было поставить себе это в заслугу». Он и занял позицию самую прогрессивную, позицию епископа, который хочет быть другом народа, врагом привилегий, защитником угнетенных. Он даже стоически отказался от взятки, которую поспешил предложить ему потихоньку королевский двор. Ему приписывают замечательные слова при этом геройском для него и совсем исключительном в его биографии отказе: «В кассе общественного мнения я найду гораздо больше того, что вы мне предлагаете. Деньги, получаемые через посредство двора, впредь будут лишь вести к гибели». Он без колебаний покинул погибающий корабль, точнее те части погибающего корабля, где так беспечно и роскошно протекала до сих пор его жизнь, – и поспешил пока что перебраться в более безопасные помещения: он перешел из залы духовенства в залу третьего сословия.

Но события развивались. Взятие Бастилии было для него тем страшным ударом грома, который показал, что опаснейшая политика, которую вел королевский двор, политика бессильного, но явно злостного сопротивления, ставит на очередь борьбу за власть с оружием в руках между революцией и контрреволюцией. Буря заливала водою уже не те или иные помещения корабля, а грозила немедленно потопить его. Нужны были окончательные, роковые, бесповоротные решения.

Талейран твердо знал, что старый режим нужно немедленно пустить на слом и провести все требуемые буржуазией реформы. Но сделать это нужно было, по его мнению, «самим»: правительство должно было делать дело буржуазии, не выпуская руля из рук. Для Талейрана революционный процесс был с самого начала и остался до конца дней его по существу в полной мере неприемлемым, враждебным, губительным. Он никогда ни на один момент не принимал искренне, не мирился от души с полной передачей власти восставшей народной массе. В этом отношении никогда у него не было даже и мимолетного увлечения новыми идеями, новыми перспективами, освободительными и «уравнительными» мечтаниями, – как бывали эти увлечения у некоторых других аристократов в последние годы перед революцией и в первые ее времена. Отвращение и боязнь – других чувств к восставшей массе Талейран никогда не питал. Но проницательный и отчетливый ум ясно указывал ему, что перемежающаяся поли-

тика слабости и насилия, уступчивости и упрямства есть наихудшая из возможных позиций. А страх перед надвигающимся переворотом был так силен, ненависть к предстоящему уничтожению самых кадров, самой обстановки беспечальной жизни так велика, что Талейран – в первый и в последний раз в жизни – решил раньше, чем перейти в стан сильного врага, попытаться повести с ним борьбу открытой силой.

Через два дня после взятия Бастилии, когда Париж был уже вполне во власти революционной национальной гвардии, а король готовился съездить из Версаля в столицу, чтобы заявить свое одобрение случившемуся и украсить свою шляпу трехцветной кокардой, – в ночь с 16 на 17 июля в Марли, во дворец, явился епископ отенский, князь Талейран, и попросил свидания с братом короля, графом д'Артуа<sup>5</sup>. Карл д'Артуа уже успел прослыть именно тем из королевской семьи, кто решительнее всех стоит за энергичное военное сопротивление наступившей революции. Более двух часов сряду продолжалась эта беседа. Талейран настаивал, что нужно немедленно начать действовать открытой силой, подтянуть наиболее надежные войска – и сражаться; что это – единственный возможный еще шанс спасения. Карл говорил, что король не согласится. Талейран настаивал, что нужно немедленно разбудить короля и убедить его начать сопротивление. Граф д'Артуа пошел будить Людовика XVI. Но когда он вернулся к Талейрану, он сообщил ему, что король решил уступить революционному потоку, но ни в каком случае не допустить пролития хотя бы одной капли народной крови. Решение обоих собеседников было тогда принято немедленно, тут же. «Что касается меня, – сказал граф д'Артуа, – то мое решение принято: я еду завтра утром, и я покидаю Францию». Талейран сначала пытался отговорить его от этого намерения, а в заключение разговора заявил: «В таком случае, ваше высочество, каждому из нас остается лишь думать о своих собственных интересах, раз король и принцы покидают на произвол свои интересы и интересы монархии». На предложение Карла<sup>6</sup> эмигрировать вместе с ним Талейран отвечал категорическим отказом.

Он остался. Не за тем, конечно, он остался, чтобы «спасать, что еще можно было спасти», как он пишет в своих мемуарах. Он в данном случае лжет так же отъявленно, так же бессовестно, с таким же величавым спокойствием и с таким же видом умудренного жизнью философа, как и везде и всегда в своих мемуарах, едва лишь дело доходит до мотивирования его поступков. Ничего и никого он не спасал ни при революции, ни при Наполеоне, напротив, с полной готовностью толкал людей, где это было ему выгодно, к гильотине или к венсенскому рву (куда, например, именно он и никто другой толкнул герцога Энгиенского в марте 1804 года). Он остался во Франции, чтобы не влачить нищенской эмигрантской жизни, чтобы попытаться поладить с новыми господами положения и раздавателями земных благ, чтобы переселиться, заменив павшую лошадь новым скакуном. С того момента, как граф д'Артуа сообщил ему после ночного разговора со своим братом, что королевская власть отказывается от вооруженной борьбы, Талейран без колебаний от Бурбонов окончательно отвернулся – и перешел в стан победителей. Он тотчас же сообразил, что хоть они и победители, хоть буржуазия одним ударом вымела прочь дворянско-абсолютистский строй, но что кое в чем такие люди, как он, еще могут, если не терять попусту золотого времени, очень и очень пригодиться и выгодно продать свои услуги, и не только потому, что у него голова хорошая, но и потому, что на этой голове находится епископская митра. Оказалось, что и при революции этот предмет может иметь свою меновую ценность. Дело в том, что как раз в это время, в конце лета и осенью 1789 года, Учредительное собрание было очень озабочено гнетущим вопросом о финансах. Предстоял обильный выпуск бумажных денег, для которых следовало найти хоть некоторое обеспечение. Таким обеспечением мог послужить крупнейший земельный фонд, принадлежавший католической церкви во Франции. Следовало его отнять у духовенства и перечислить в казну. И вот тут-то предстояли некоторые трудности.

Во-первых, как нарушить священный и неприкосновенный принцип частной собственности? Торжествующая буржуазия столько раз и так торжественно его провозглашала, под-

тверждала, внедряла и славословила, она так боялась, чтобы до сих пор помогавшие ей массы не обратились от штурма Бастилии к мануфактурам, домам и меняльным лавкам, что всякий раз, когда вопрос хоть отдаленно касался перемен имущественного характера, в речах и поведении собрания замечался какой-то разнородный, – наблюдались колебания, трения, некоторая растерянность и нерешительность. А тут ведь дело шло об экспроприации колоссальных церковных земельных фондов. Не могло ли это послужить соблазнительным примером, например толчком к требованию перераспределения всех вообще земельных имуществ, поощрением к «аграрному закону», к земельной реформе в стиле братьев Гракхов, о которых так часто и с таким беспокойством поминали в те времена?

А во-вторых, эта экспроприация касалась ведь большого, прекрасно организованного сословия, того самого духовного сословия, которое хоть и было очень многими и крепкими нитями связано со старым режимом, но до сих пор вело себя с большой осторожностью, вовсе еще не становилось в ряды врагов революции и, обладая значительным влиянием в деревне, нигде не было пока замечено в контрреволюционной агитации среди крестьян. Сразу сделать эту громадную, сплоченную, полуторатысячетную организацию своим врагом буржуазные законодатели тоже отнюдь не желали. Если бы еще, отнимая эту землю у церкви, ее отдали немедленно крестьянам, – было бы основание надеяться на то, что материальные выгоды, получаемые крестьянами, обезвредят контрреволюционную пропаганду обиженного и раздраженного духовенства. Но ведь эти земли вовсе не предназначались к раздаче: они должны были поступить в казну, которая уже и озаботилась бы их продажей с публичного торга. Опасное и полное соблазна насилие над принципом частной собственности, переход духовенства в контрреволюционный лагерь – вот перспективы, встававшие пред обеспокоенным взором Национального учредительного собрания. Без конфискации этих колоссальных земельных богатств обойтись было никак нельзя. Как бы сделать так, чтобы и земли оказались в руках казны и чтобы конфискации никакой при этом не было бы?..

Вот тут-то и пригодились князю Талейрану его епископское облачение и пастырский посох, тут-то он и понял, что подвертывается сам собою случай (и уже, конечно, последний случай) получить за эти красивые, но несколько устаревшие вещи гораздо больше, чем мог бы дать за них самый щедрый антикварный магазин.

10 октября 1789 года Учредительное собрание, а вечером весь Париж были потрясены неожиданным, изумительным и радостным известием. Оказалось, что живы еще в греховном веке святые христовы заповеди, повелевающие во смирении и нищете видеть истинное блаженство! Сами высшие служители алтаря, пастыри душ людских, без всякого давления со стороны, движимые одною лишь беззаветною любовью к ближним, возжелали отдать все, что имеют, в пользу отечества, вспомнили, что они являются прямыми наследниками и продолжателями босых и нищих палестинских апостолов, – и добровольно отказались от всех своих земель! Даром! Без выкупа! И кто же совершил этот подвиг, достойный блаженнейших угодников божиих? Скромный епископ отенский, он же (во миру) князь Талейран Перигор! Именно он, не предупредив даже никого из других духовных лиц, увлекаемый индивидуальным сердечным порывом, внес в Учредительное собрание предложение – взять в казну церковные земли, и представил тут же разработанный проект закона об этом. В пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не похожа на обыкновенную частную собственность, что государство смело может ею овладеть и что эта мера «согласуется с суровым уважением к собственности». «Иначе бы я эту меру отвергнул», – бестрепетно заявлял при этом принципиальный автор.

Все эти оговорки, а главное – духовный сан автора законопроекта, сразу снимали прямо гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось: церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании. Правда, епископ отенский уже с давних пор снискал себе репутацию, значительно

отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древлеблагочестивому святителю и подвижнику, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за епископом отенским даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовных связи одновременно и что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камилл Демулэн даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епископ отенский, посвящая дни свои работе в Национальном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Но враги епископа отенского не хотели понять, что карты дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего человеком серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания; испанский посол в ответ на это сообщение дал Талейрану сто тысяч долларов американскою монетою в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам; а во-вторых, Талейран тою же осенью 1789 года выпросил у своей любовницы графини Флаб драгоценное ожерелье, которое и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров. Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвятителя Отенской епархии. Но теперь, на время, значительное большинство собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносили Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собою все корабли и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. «Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калоне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале», таков был прежде епископ отенский; «а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвopреступление и сеет раздоры, возвещая при этом мир». Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета «Les Actes des Apotres» по поводу секвестра церковных имуществ.

Пойдя по новой дороге, Талейран не обращал на эти стрелы ни малейшего внимания. Ему важно было теперь мнение его новых хозяев, к которым он пошел на службу, презирая их точно так же, как он презирал оставленных им аристократов и епископов, и еще вдобавок холодно ненавидя новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, своею полнейшею бытовою отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Талейран никогда не блистал ораторскими способностями, да и опасался он выступать на этой беспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам – вроде дипломатического и финансового, – где негласно и без особого риска можно было подзаработать. «Видите ли, – поучал он впоследствии барона Витроля, – никогда не следует быть бедняком, *il ne faut jamais etre pauvre diable*. Что до меня, – то я всегда был богат». На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться. Таков был руководящий жизненный принцип князя Талейрана вплоть до гробовой доски.

Духовенство и дворянство разъяренно его возненавидели за его инициативную роль в деле отобрания церковных имуществ. Но они были бессильны и поэтому нисколько Талейрана не интересовали. В Национальном собрании буржуазия, торжествовавшая во всех пунктах, демонстративно возблагодарила так кстати выступившего епископа отенского тем, что в

феврале 1790 года избрала его президентом Национального собрания. Он быстро шел в гору. Во время громадного торжества праздника федерации (14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии) Талейран появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своею особою слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоническое целое. Он оказался в центре действия.

Он величаво благословил королевскую семью, национальную гвардию, членов Национального собрания, несметные толпы обнажившего пред ним свои головы народа, он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посредине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот бескорыстный аристократ, так всецело служащий возрождению отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в этот день даже некоторое умиление. Сам Талейран, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал, но вот почему. К вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме (графине Лаваль). После обеда он съездил снова в игорный притон, – но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай: он снова сорвал банк! «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковые билеты. Я был покрыт ими. Между прочим, и шляпа моя была ими полна». Так с одушевлением повествовал он об этом отрадном событии много лет спустя барону Витролю, когда речь зашла о дне праздника революционного братства 14 июля 1790 года.

Вскоре снова пригодилась Талейрану его епископская митра: он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвятить.

Папа ответил на это отлучением Талейрана от церкви. Но тот и ухом на это отлучение не повел – и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил (осенью 1791 года) собранию обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции. Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в собрании в качестве епископа, Талейран сбросил, наконец, свое епископское одеяние окончательно и бесповоротно: ведь папское отлучение в сущности отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком.

Очень скоро услуги Талейрана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было снискать себе историческую славу, – на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 года должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 года Талейран был командирован в Лондон с целью убедить Вильяма Питта<sup>7</sup> остаться нейтральным в предстоящей схватке. «Сближение с Англией – не химера, – заявил тогда же Талейран: – две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание главным образом на торговле, а другая на земледелии, призваны неизменною природою вещей к согласию, ко взаимному обогащению». Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели «этого интригана, этого вора и расстригу», как они его величали. С эмигрантами сам Питт считался мало, но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень считались. Королева на аудиенции, когда Талейран, со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа, подошел к ней, повернулась спиною и ушла. На улицах Лондона Талейрана иногда вполголоса, а иногда и во весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами. Но Талейран тут, на международной сцене, обнаружил впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такою царственною величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, – что не этим уколам и демонстрациям было

его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае выступление Англии было отсрочено больше чем на год. Англичан поразила, между прочим, самая личность французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скуп и намеренно не очень ясно по существу, очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника.

В первых числах июля 1792 года Талейран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия, после полуторатысячелетнего своего существования.

Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло не хватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Талейран тотчас же взял на себя средактировать ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. «Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. С самую скандальную щедростью из рук короля лилось золото на подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, беспокоивший его». С таким праведным революционным гневом изъяснялся в этой ноте князь Талейран, оправдывая низвержение Людовика XVI пред иностранными державами и, прежде всего, пред Англией. И – буквально чуть не в тот же самый день, как он писал эту проникнутую суровым революционным пафосом ноту, – Талейран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Дантону просить паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Предлог был до курьеза явственно придуманный и фальшивый. Но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней тому назад за полную подписью писал Англии ноту о полнейшей необходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа? Дантон согласился. Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Талейран ступил на английский берег.

Опоздай он немного – и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 году. Это можно утверждать совершенно категорически: дело в том, что в знаменитом «железном шкафу» короля, вскрытом по приказу революционного правительства, оказались два документа, доказывавшие, что еще весной 1791 года Талейран тайно предлагал королю свои услуги; дело было сейчас после смерти Мирабо, и Талейран имел тогда все основания рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, он имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы остались, хоть и очень слабые, – он был крайне осторожен – и, как сказано, обнаружались. 5 декабря 1792 года декретом конвента было возбуждено обвинение против Талейрана. Присланное им объяснение не помогло, – и он официально был объявлен эмигрантом.

Это было – или казалось – до известной степени жизненным крушением для Талейрана. Путь во Францию был закрыт если не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмя кишели эмигранты-роялисты, которые печатно поспешили заявить, что бывший епископ отенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты – «люди 1789 года», как их называли, – они относились к Талейрану гораздо терпимее, так что составилась небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати приехала в Лондон и госпожа Сталь, у которой были с Талейраном интимные отношения. Зажил он, в конце концов, спокойно, как всегда не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов он презирал от всей души, главным образом за убогость их умственных средств, в частности за полнейшее детское непонимание ими всей грандиозности того, что случилось. Для Талейрана было уже тогда (и даже раньше – уже после взятия Бастилии) ясно, что какие бы сюрпризы и перемены ни ждали Францию, –

одно вполне доказано: старый режим в том виде, как он существовал до 1789 года, не вернется. Мало того: не вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это – даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и в возвращение Бурбонов ни в малейшей степени не верил. Оттого-то он и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против своей особы со стороны роялистов-эмигрантов, которые истощали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном «расстриге». С его точки зрения – это были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить, и только. Однако кое-какие неприятности косвенным путем они все-таки могли ему доставить и не преминули воспользоваться случаем. В один прекрасный день (дело было в январе 1794 года) английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать, куда пожелает, в другое место. Но куда? В монархическую континентальную Европу ему показаться нельзя было: там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты, враги его, имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Талейран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный и совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. «Я прибыл туда, полный отвращения к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства». Тут характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему и никогда не было «любопытства» – ни к какому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему лично прямого отношения.

В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями, и, по-видимому, безуспешно. Но его стала томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завести сношения с революционным правительством и просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом можно было лишь после 9 термидора, а в особенности после 1 прерияля, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий в начале лета 1795 года. Он начал деятельно хлопотать, – и уже 4 сентября 1795 года ему было дано разрешение вернуться во Францию. Сильно ему помогла именно та яркая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в конвенте, в заседании 4 сентября 1795 года, Шенье<sup>8</sup> сказал: «Я прошу о нем во имя республики, которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами; я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвою которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать».

Тотчас по получении (в ноябре того же 1795 года) известия об этом событии Талейран стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 года он прибыл в Париж. Началась новая эпоха его жизни, – а одновременно начинался и новый период мировой истории. «Революция кончилась во Франции и пошла на Европу», – говорили одни. «Революция вышла из своих берегов», – говорили другие. За Альпами уже гремела слава молодого завоевателя, которого феодальная Европа назвала впоследствии «Робеспьером на коне». Предстояли великие перемены и во Франции и в Европе. Буржуазная революция, победившая во Франции, готовилась померяться силами с абсолютистской Европой, с полуфеодальным строем, решившим дорого продать свою жизнь. На авансцену истории выступали армии, ораторы готовились уступить место генералам. Буржуазная революция, отбросив врагов от границ Франции, преследовала их на их собственной территории. Талейран не сомневался ни минуты (и никогда) относительно того, на чьей стороне в этой борьбе буржуазии против пережитков феодализма будет победа. Оттого-то он и приехал во Францию из Америки. Его час пришел. В этом самом 1796 году в одну бессонную ночь завоеватель Италии, генерал Бонапарт, по собственному своему позднему признанию, впервые спросил себя: неужели же ему всегда придется воевать «для этих адвокатов»? А в это же время в далеком Париже

только что вернувшийся князь Талейран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке, – князь Талейран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики, – тоже решал вопрос: искать ли себе нового господина или довольствоваться «этими адвокатами», как они ни плохи? Он решил, что прежде всего нужно вкратце в милость и ближайшее окружение нынешних владык, а потом уже думать о будущем властелине. Что страна безусловно идет к военной диктатуре, – это Талейран ясно предвидел.

Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги Директории. Тут дело пошло весьма негладко. Обнаружилось досадное обстоятельство: слишком уж оказалась громкою в известном смысле репутация бывшего епископа отенского. «С медным лбом он соединяет ледяное сердце», – писал о нем Лебрэн в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первой буквой и несколькими точками: печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Хуже всего (в карьерном отношении) было то, что в самой пятичленной Директории трое директоров считали его взяточником, четвертый считал его вором и взяточником, а пятый (Ребель) – изменником, вором и взяточником. «Талейран состоит на тайной службе у иностранных держав! – восклицал Ребель на заседаниях Директории. – Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа». Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно<sup>9</sup>, когда сам он говорил о нашем герое: «Талейран потому именно так презирает людей, что он много изучал самого себя... Он меняет принципы – как белье».

Все упования Талейрана были возложены на Барраса<sup>10</sup>. Баррас тоже знал, что Талейран способен решительно на все, но он знал также, что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат, тонкий ум, способность к долгим извилистым переговорам, к словесным поединкам самого трудного свойства. Он понимал, что эта сложнейшая дипломатическая функция есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас, в 1797 году, имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни «адвокаты», ни генералы. Не буду передавать во всех деталях (они все известны и даже приведены в систему вследствие стародавней любви французской историографии к мелочам и к альковным сплетням), не буду касаться того, как госпожа Сталь помогла в этом деле Талейрану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее (в тот момент) любовником Бенжаменом Констаном, как он умолял госпожу Сталь, чтобы она разжалобила Барраса и уверила бы долго колебавшегося директора, что ему, Талейрану, жить нечем, что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в реке Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров и так далее. «Il m'a dit qu'il allait se jeter a la Seine, si vous ne le faites pas deciderement ministre des affaires etrangeres». Баррас не скрыл от своей гостьи (она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни), что вся Директория относится к покровительствуемому госпожою Сталь другу, как к отъявленному плуту, и что вообще она, Сталь, ему, Баррасу, очень уж надоела с этими назойливыми приставаниями. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня, в восьмой раз. В конце концов Баррас, при всеильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Талейран может пригодиться и что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил в Директории вопрос о назначении Талейрана. После прений три голоса оказались за назначение, два против.

Когда Бенжамен Констан вбежал к Талейрану с этим известием, – тот чуть ли не в первый и в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которой он сейчас же поехал с Констаном и с одним своим собутыльником благодарить Барраса, он, как будто забыв о существовании слушателей, повторял всю

дорогу, как помешанный, одну и ту же фразу: «Место за нами! Нужно составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние!» (Nous tenons la place! Il faut y faire une fortune immense, une fortune immense, une fortune immense!)

Такова была та основная пружина, тот самый глубокий, основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который он высказал, как только узнал, что назначен министром французской республики, высказал в пароксизме стихийной, пьянящей радости, единственный раз в своей жизни забыв собственное свое правило, что «язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли». Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из нищего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 года, получив официальную бумагу о своем назначении, князь Талейран совершенно опомнился и взял себя в руки. Пред служащими министерства иностранных дел, пред просителями, пред дипломатическим корпусом стоял, величаво опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, представитель Великой французской революции, борющейся со всеми этими Георгами, Павлами, Францами, а главное – человек, спокойно и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клеветают о нем, то это никак не может омрачить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие, – и после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу: «Вы сами теперь видите, как я хорош!»

Итак – он министр, он настоящая власть и сила. Некоторое время уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию эмигранты побаивались мести этого человека, которого они так яростно бранили и преследовали своей ненавистью и даже, как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему, члену правительства, теперь ничего не будет стоить жестоко расправиться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это тоже характерная его черта: он вовсе не был мстителен. При полнейшем, законченном своем аморализме он был бы способен деятельно поработать, чтобы хоть живьем закопать совсем пред ним ни в чем неповинного человека, если это сколько-нибудь требовалось в карьерных целях, – но он пальцем о палец не ударил бы, чтобы покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Месть сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он в самом деле не умел ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивою фразою в устах их ходульных героев, – то в Талейране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тирад о ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге; а если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растаптывал пятою, после чего снова забывал о них. Да и были у нового министра гораздо более его интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней его министерства в дипломатическом корпусе стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики. В эпоху Директории, в годы развеселых кутежей директора Барраса, в разгар спекуляций финансиста и хищника Уврара, в эпоху оргий крупных и мелких казнокрадов, было трудно, казалось бы, удивить кого-либо взятками, их обилием и повседневностью. Но Талейран все-таки удивил даже своих современников, отучившихся в этом смысле чему-либо удивляться. Он брал взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединенных Штатов, брал с колоний и с метрополий, с Европы и с Америки, с Персии и с Турции; брал со всех, кто так или иначе зависел от Франции, или нуждался во Франции, или убоился Франции. А кто же в ней тогда не нуждался и кто ее не боялся? Взятки он брал огромные, даже как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с нее маленькую взятку.

Так, он сразу же дал понять прусскому послу, что меньше трехсот тысяч ливров золотом он с него не возьмет. С Австрии – по случаю Кампо-Формийского мира – он взял миллион, с Испании – за дружеское расположение – миллион, с королевства Неаполитанского полмиллиона. В современной ему печати еще при его жизни неоднократно делались попытки сосчитать, хотя бы в общих итогах, сколько Талейран получил взятками за время своего министерства. Но эти враждебные ему счетоводы обыкновенно утомлялись в своих подсчетах и останавливались лишь на первых годах его управления делами. Так, писали, что за 1797–1799 гг. Талейран получил больше тринадцати с половиною миллионов франков золотом (собственно 13 650 000). Но ведь эти первые два года были, можно сказать, лишь детской игрой сравнительно с последующими годами, с годами полного владычества Наполеона над всей Европой, – когда Талейран продолжал оставаться министром. И взятки вовсе не были единственным средством обогащения. Через своих любовниц и своих друзей, и через друзей своих любовниц, и через любовниц своих друзей Талейран почти беспробитно играл на бирже: ведь он заблаговременно знал, как сложится ближайшее политическое будущее, он предвидел биржевые последствия подготовляемых им или заблаговременно известных только ему политических актов, – и соответственные его указания золотым потоком возвращались затем к нему с биржи. Наконец, кроме взяток и биржевой игры, был еще и третий заработок: подряды. Талейран имел в своем распоряжении тьму агентов, которые рыскали по вассальным или полувассальным, зависимым от Франции странам и просили там у правящих лиц подрядов на поставку тех или иных товаров и припасов. Курьезный случай на этой почве произошел в Испании. Когда туда явились из Парижа какие-то проходимцы и чуть не с шантажными намеками и угрозами стали вымогать у испанского короля разные поставки, то французский посол, адмирал Трюгэ, убежденный, что проходимцы действуют на свой собственный риск и страх, выслал их вон из Испании. Но ему очень скоро пришлось убедиться, что за спиной этих пострадавших предпринимателей стоит величественная фигура самого министра Французской республики, князя Талейрана-Перигора. Посол был за недостаточно проворную сообразительность уволен в отставку, а проходимцы, после краткого своего затмения, вновь воссияли в Мадриде.

Могут спросить: неужели на направление европейских дел в самом деле оказывали влияние эти взятки и подкупы! Конечно нет! Не требовалось обладать умом и хитростью Талейрана, чтобы понять, что, например, если генерал Бонапарт завоевал Италию, то никак нельзя заставить ни Директорию, ни генерала вдруг великодушно освободить из когтей свою добычу. Или если Франция требует от Испании помощи флотом в борьбе против Англии, то ни за что французское правительство от этого требования не откажется. Талейран знал, что даже простая попытка советовать своему правительству явно невыгодные для Франции действия может для него кончиться в лучшем случае немедленным увольнением, а в худшем случае – расстрелом. Он никогда и не делал и не пытался делать таких нелепых и отчаянных вещей. Он брал взятки лишь за снисходительную редакцию каких-либо второстепенных или третьестепенных пунктов договоров, соглашений, протоколов; за пропуск слишком точной и жесткой формулировки; за обещание «содействия» по вопросу, по которому, как он знал, и без его содействия дело уже решено верховною властью в принципе благоприятно для его просителя; ему платили за ускорение каких-нибудь реализаций: за то, чтобы на три месяца раньше эвакуировать территорию, которую Франция уже согласилась эвакуировать; за то, чтобы на полгода раньше получить субсидию, которую Франция уже обещала дать, и так далее. С точки зрения психологической любопытно отметить, что Талейран желал обнаруживать – и обнаруживал – суровую этику в своих делах со взяткодателями: если взял – исполни; если не можешь – возврати взятку. Например, когда Наполеон, стоя зимним лагерем в Варшаве, приказал Талейрану в январе 1807 года приготовить проект восстановления самостоятельной Польши, – то министр тотчас же потребовал от польских магнатов четыре миллиона флоринов золотом. Они устроили складчину, сколотили поспешно четыре миллиона и в срок доставили. Талейран обещал зато уж в самом

деле сделать дело на совесть. И действительно, он подал императору доклад, в котором с глубоким чувством писал о «непростительной ошибке» Франции, допустившей некогда разделы Польши, и о провиденциальной обязанности его величества восстановить несчастную страну. Но дело повернулось так, что Наполеон, вступив спустя полгода в Тильзите в союз с Александром I, не смог сделать для поляков то, что раньше собирался было сделать. Тогда Талейран возвратил четыре миллиона. Правда, этот героический жест мог быть объяснен также страхом, что обиженные и обманутые поляки доведут обо всем до сведения императора. Во всяком случае, Талейран осторожно и умно обделывал эти темные дела и прежде всего никогда не делал даже отдаленной попытки влиять на ход событий в основном и сколько-нибудь важном в ущерб французским политическим интересам. Но при всяком удобном дипломатическом случае он ухитрялся сорвать со своих контрагентов более или менее округленную сумму. Иногда (на первых порах) дело доходило, впрочем, и до скандала; это бывало, когда князю Талейрану случалось нарваться на людей, еще сравнительно недавно приобщенных к старой европейской цивилизации. Так, например, в 1798 году произошла следующая неприятная история. В Париже (еще с осени 1797 года) сидели специальные американские уполномоченные, прибывшие для исходатайствования законно причитающихся американским судовладельцам денежных сумм. Талейран тянул дело, подсылая своих агентов, которые, объясняясь по-английски, заявили туго соображавшим американцам, что министр хотел бы предварительно получить от них «сладенькое», *the sweetness*, так они перевели «*les douceurs*». Сладенькое потребовалось в таких несоответственно огромных размерах, что терпение американское лопнуло. Не только делегаты обратились с формальной жалобой к президенту Соединенных Штатов, своему прямому начальнику, но и сам президент Адамс (в послании к конгрессу) повторил эти обвинения. Американские представители укоризненно вспомнили по этому случаю недавнюю эмиграцию Талейрана: «Этот человек, по отношению к которому мы проявили самое благожелательное гостеприимство, он и есть тот министр французского правительства, к которому мы явились, прося только справедливости. И этот неблагодарный наш гость, этот епископ, отрекшийся от своего бога, не поколебался вымогать у нас пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на сладенькое, *the sweetness*, пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на удовлетворение своих пороков».

Скандал получился невероятный. Все это было напечатано. Талейран ответил, небрежно и свысока, сославшись на каких-то неведомых обманщиков и на «неопытность» американских уполномоченных. Затем поспешил удовлетворить их требования, уже махнув рукою на «сладенькое». Но эти неприятности у него были только с такими дикарями от Миссисипи и Скалистых гор. Европейцы были гораздо терпеливее и избегали скандалов. Да и положение их было опаснее: их не охранял Атлантический океан.

Одновременно с быстрым наживанием огромных сумм Талейрана озабочивали и другие вопросы. Он тогда не хотел возвращения Бурбонов, потому что, если и не боялся «колесования», которым ему грозили эмигранты, то все же понимал, как невыгодна и даже опасна для него реставрация. Поэтому, когда буржуазная реакция стала частично принимать форму реставрационных мечтаний, он очень приветствовал событие 18 фруктидора – внезапный арест роялистов и ссылку их и разгром роялистской партии. Ему нужна была другая форма этой реакции, – ему нужна была монархия или даже диктатура, но без Бурбонов, – то есть ему нужно было то же, что было или казалось нужно в тот момент «новым богачам» и новым земельным собственникам, всей новой буржуазии: строй, который предохранял бы их не только от Бабефа, не только от прериальцев, но и от нового Робеспьера<sup>11</sup>, и который в то же время делал бы невозможную попытку реставрировать дореволюционные социально-экономические порядки. И все внимательнее и льстивее, все почтительнее и сердечнее делались талейрановские деловые письма к воевавшему за Альпами молодому генералу. Талейран ему же в 1797 и 1798 гг. писал не как министру генералу, командующему одною из нескольких армий республики, а скорее как верноподданный, влюбленный в своего монарха. Он один из первых предугадал Бона-

парта и понял, что это не просто победоносный рубака, а что-то гораздо более сложное и сильное. Он понял, что этот человек посильнее «адвокатов» и что следует поэтому заблаговременно прикрепить свою утлую ладью к этому выплывающему на простор большому кораблю. Тут уместно было бы сказать хоть несколько слов для общей характеристики отношения Талейрана к Наполеону, тем более что значительная часть предлагаемых мемуаров касается именно эпохи наполеоновского единодержавия. Конечно, собственные заявления Талейрана можно тут оставить в стороне: они дают понятие о том, в каком свете ему хотелось бы представить свои отношения к императору – и только. Вглядимся в факты и наблюдения посторонних лиц.

Несомненно, что Талейран постиг раньше очень многих, какие дарования, какие возможности заложены в этом угрюмом молодом полководце, такими неслыханными подвигами начавшем свою военную карьеру. Казалось бы, что общего могло быть между этими двумя людьми? Один – изящный, изнеженный представитель старинной аристократии, другой – из обедневших дворян далекого, дикого, разбойничьего острова. Один – всегда (кроме времени эмиграции) имевший возможность прокучивать за пиршественным или за игорным столом больше денег за один вечер, чем другой мог бы истратить за несколько лет своей жизни. Для одного – все было в деньгах и наслаждениях, в сибаритизме, – и даже внешний почет был уже делом второстепенным; для другого – слава и власть, точнее, постоянное стремление к ним было основной целью жизни. Один к сорока трем годам имел прочную репутацию вместилища чуть ли не всех самых грязных пороков, но был министром иностранных дел. Другой имел репутацию замечательного полководца и к двадцати восьми годам был уже завоевателем обширных и густонаселенных стран и победителем Австрии. Для одного – политика была «наукою о возможном», искусством достигать наилучших из возможных результатов; у другого – единственное, чем никогда не мог похвалиться его необычайный ум, было именно недоступное ему понимание, где кончается возможное и где начинается химера. Но и роднило их тоже очень многое. Во-первых, в тот момент, когда история их столкнула, они стремились к одной цели: к установлению буржуазной диктатуры, направленной острием своего меча и против нового Бабефа, и нового Робеспьера, и повторения Прериала, и одновременно против всяких попыток воскрешения старого режима. Было тут, правда, и отличие, но оно еще более их сблизило: Бонапарт именно себя и никого другого прочил в эти будущие диктаторы, а Талейран твердо знал, что сам-то он, Талейран, ни за что на это место не попадет, что оно и не по силам ему, и не нужно ему, и вне всяких его возможностей вообще, а что он зато может стать одним из первых слуг Бонапарта и может получить за это гораздо больше, чем все, что до сих пор могли дать ему «адвокаты». Во-вторых, сблизали их и некоторые общие черты ума: например, презрение к людям, нежелание и непривычка подчинять свои стремления какому бы то ни было «моральному» контролю, вера в свой успех, спокойная у Талейрана, нетерпеливая и волнуемая у Бонапарта. Эмоциональная жизнь Бонапарта была интенсивной, посторонним наблюдателям часто казалось, что в нем клокочет какой-то с трудом сдерживаемый вулкан; а у Талейрана все казалось мертво, все застыло, подернулось ледяною корой. В самые трагические минуты князь еле цедил слова, казался особенно индифферентным. Было ли это при творством? В таком случае он артистически играл свою роль и никогда почти себя не выдавал. Бонапарт был образованнее, потому что был любознательнее Талейрана. Затруднительно даже представить себе, чтобы Талейран тоже мог заинтересоваться каким-то средневековым шотландским бардом Оссианом (хотя бы в макферсоновской фальсификации) или гневаться на пристрастия Тацита<sup>12</sup>, или жалеть о страданиях молодого Вертера, или так беседовать с Гете<sup>13</sup> и с Виландом, как Наполеон в Эрфурте, или толковать с Лапласом о звездах и о том, есть ли бог или нет его. Все сколько-нибудь «абстрактное» (то есть, например, вся наука, философия, литература), не имеющее прямого или хоть косвенного отношения к кошельку и карьере князя Талейрана, было ему глубочайше чуждо, не нужно, скучно и даже, кажется, попросту противно.

Понимали ли эти две натуры друг друга? «Это – человек интриг, человек большой безнравственности, но большого ума, и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел», – так отзывался к концу жизни Наполеон о Талейране. И все-таки Наполеон его недооценивал и слишком поздно убедился, как может быть опасен Талейран, если его интересы потребуют, чтобы он предал и продал своего господина и нанимателя. Что касается Талейрана, то весьма может быть, что он и не лжет, когда утверждает, будто искренне сочувствовал Наполеону в начале его деятельности и отошел от него лишь к концу, когда начал понимать, какую безнадежно опасную игру с судьбой и какое насилие над историей затеял император, к какой абсолютно несбыточной цели он стремится. То есть, конечно, тут надо понимать дело так, что Талейран убоился не за Францию, как он силится изобразить, ибо «Франция» тоже была для него абстракцией, но за себя самого, за свое благополучие, за возможность спокойно пользоваться наконец нажитыми миллионами, не прогуливаясь ежедневно по самому краю пропасти.

Во всяком случае, если бы князь Талейран вообще был способен «увлечься» кем-нибудь, то можно было бы сказать, что в последние годы пред 18 брюмера и в первые годы после 18 брюмера он именно «увлекся» Бонапартом. Он считал, что над Францией нужно проделать геркулесову работу, и видел тогда именно в Бонапарте этого Геркулеса. Он не тягался с ним, не соревновался, с полной готовностью признавал, что их силы и их возможности абсолютно несоизмеримы, что Бонапарт будет повелителем, а он, Талейран, будет слугой.

Уже 10 декабря 1797 года (20 фримера VI года по революционному календарю), когда в Париже происходило торжественное чествование только что вернувшегося из Италии в Париж победоносного Бонапарта, Талейран произнес в присутствии Директории и массы народа речь, полную самой верноподданнической лести, как будто Бонапарт уже был самодержавным монархом, а не простым республиканским генералом, и вместе с тем он умудрился подчеркнуть мнимую «скромность» генерала, его (никогда не существовавшее) желание удалиться от шумного света под сень уединения и так далее, – все то, что было необходимо, чтобы ослабить подозрения и уже проснувшееся неопределенное беспокойство Директории за собственное свое существование.

Дружба этих двух людей была непосредственно вслед за тем скреплена грандиозным новым предприятием генерала Бонапарта: нападением на Египет. Для Бонапарта завоевание Египта было первым шагом к Индии, угрозой англичанам. Для Талейрана, как раз тогда выдвигавшего идею создания новых колоний, Египет должен был стать богатою французскою колонией. Талейран горячо защищал этот проект перед Директорией, особенно подчеркивая огромные торговые перспективы, связанные с завоеванием этой страны. Экспедиция была решена. Бонапарт с лучшими войсками уехал в Египет, а для Директории наступили вскоре трудные дни. Снова пол-Европы шло на Францию. В Италию явился Суворов – и плоды бонапартовых побед были потеряны. Непопулярность Директории росла со дня на день: министров – и особенно Талейрана – обвиняли в измене, в том, что они нарочно, в угоду врагам, послали в Египет Бонапарта, который мог бы спасти отечество, – и так далее. Талейрану непременно нужно было отделиться вовремя от правительства, и он, придравшись к одному делу о клевете, за которую он привлек к суду клеветника, но не получил удовлетворения, подал довольно неожиданно в отставку. Случилось это 13 июля 1799 года. Неделью спустя, 20 июля, отставка была принята; а спустя три месяца, 16 октября, в Париж прибыл неожиданный и неприятный для Директории гость – генерал Бонапарт. Восторги и овации, которыми он был встречен на всем долгом пути от Фрежюса, где он высадился с корабля еще 9 октября, до Парижа, ясно показали всем и каждому, что Директории осталось жить недолго. И в самом деле: она просуществовала ровно двадцать три дня, считая с момента появления Бонапарта в столице.

Эти двадцать три дня были временем сложнейших и активнейших интриг Талейрана. Завоеватель Италии, завоеватель Египта, популярнейший человек во всей Франции нуждался в нем, в опытном политическом дельце, знающем все ходы и выходы, все пружины прави-

тельственного механизма, все настроения директоров и других первенствующих сановников. И Талейран верой и правдой служил в эти горячие три недели восходящему светилу, расчищая путь для государственного переворота. В самый день переворота, 18 брюмера (9 ноября 1799 года), на долю Талейрана выпала деликатная миссия – побудить директора Барраса добровольно подать немедленно в отставку. Бонапарт при этом вручил Талейрану для передачи Баррасу довольно крупную сумму денег, цифра которой до сих пор не установлена в точности. Талейран встретил, однако, у Барраса полную и немедленную готовность подать в отставку и так обрадовался этой неожиданно подвернувшейся возможности оставить за суматохою в собственном кармане приготовленную было для Барраса сумму, что в порыве благодарности бросился... целовать руки директора, с жаром изъявляя ему за его «добровольную» отставку признательность от имени отечества. Обо всем этом повествует Баррас, разузнавший лишь впоследствии, как дорого в денежном смысле обошлась ему излишняя поспешность в самоустранении, проявленная им в утренние часы 18 брюмера при разговоре с Талейраном. Сам Талейран скромно умалчивает обо всем этом происшествии, очевидно не считая, чтобы стоило утруждать внимание потомства такими мелочами.

Дни 18 и 19 брюмера 1799 года отдали Францию в руки Бонапарта. Республика кончилась военной диктатурой. А спустя одиннадцать дней после переворота Бонапарт назначил Талейрана своим министром иностранных дел.

## II

Талейран и при империи, и после империи, до конца дней своих утверждал то, о чем говорит и в мемуарах: «Я любил Наполеона; я даже чувствовал привязанность к его личности, несмотря на его недостатки; при его выступлении я чувствовал себя привлеченным к нему той непреодолимой обаятельностью, которую великий гений заключает в себе; его благодеяния вызывали во мне искреннюю признательность... Я пользовался его славою и ее отблесками, падавшими на тех, кто ему помогал в его благородном деле». Мы теперь знаем также, что даже в своем политическом завещании (его впервые опубликовал в 1931 году Лакур-Гайе в своей новейшей трехтомной биографии Талейрана), составленном 1 октября 1836 года, когда ему было восемьдесят два года, когда царствовал Луи-Филипп, когда престарелому князю уже ничего ни от кого не было нужно, когда династия Бонапартов считалась актом Венского конгресса навсегда исключенной из престолонаследия и никто не мог предвидеть, что этой династии еще раз суждено в будущем царствовать, Талейран писал: «Поставленный самим Бонапартом в необходимость выбирать между ним и Францией, я сделал выбор, который мне предписывался самым повелительным чувством долга, но сделал его, оплакивая невозможность соединить в одном и том же чувстве интересы моего отечества и его интересы. Но тем не менее я до последнего часа буду вспоминать, что он был моим благодетелем, ибо состояние, которое я завещаю моим племянникам, большею частью пришло ко мне от него. Мои племянники не только должны не забывать этого никогда, но должны сообщить это своим детям, а их дети – тем, кто родится после них, так, чтобы воспоминание об этом было увековечено в моей семье из поколения в поколение, чтобы, если когда-либо человек, носящий фамилию Бонапарта, очутится в таком положении, когда он будет иметь надобность в поддержке или помощи, чтобы мои непосредственные наследники или их потомки оказали ему всевозможную зависящую от них помощь. Этим способом более, чем каким-либо другим, они покажут свою признательность ко мне, почтение к моей памяти».

В чем тут дело? Зачем он и твердил всегда и писал все это? Почему он выделял так упорно Наполеона из всех правительств и всех людей, которых он на своем долгом веку предал и продал? Могло быть отчасти, что единственно только Наполеон из всего множества жизненных встреч Талейрана в самом деле ему импонировал своим умом, своими гениальными и разнообразными способностями, своею гигантскою историческою ролью. Отчасти же могло быть и то, что Талейран наиболее сильные свои эмоции обнаруживал хоть, правда, в редчайших единичных случаях, но всегда исключительно в связи со своею неутолимою страстью к стяжанию, к золоту: мы уже видели, например, как он вел себя в первые минуты после назначения министром в 1797 году или 18 брюмера 1799 года, когда сообразил, что может присвоить себе тишком сумму, предназначенную для подкупа Барраса. Если в этой холодной, мертвенной душе могло зародиться нечто, похожее на чувство благодарности за быстрое обогащение, то, в самом деле, это чувство могло больше всего быть заронено в нее именно Наполеоном.

Что такое была для Талейрана наполеоновская империя? Блеск и неслыханная роскошь придворной жизни, которые изумляли даже выдавшего виды русского посла, екатерининского вельможу Куракина<sup>14</sup>; положение министра, служащего самодержавному и могущественнейшему владыке богатейших и культурнейших в мире земель и народов, конгломерат которых превышал размеры былой Римской империи; пресмыкающиеся перед ним, Талейраном, короли, королевы, герцогини, великие герцоги, курфюрсты; непрерывная лесть, раболепное преклонение, заискивание со стороны бесчисленных коронованных и некоронованных вассалов; и – золото, золото, бесконечным потоком льющееся в его карманы. Наполеон последовательно сделал его – министром иностранных дел, великим камергером, великим электором, владетельным «князем и герцогом» Беневентским. Даже не считая оклада министра иностран-

ных дел, Талейран получал за все эти должности без малого полмиллиона франков золотом в год (495 000, а с министерским окладом – больше 650 000 в год). (Для сравнения напомним, что в эти самые годы рабочая семья в Париже, получавшая от общей работы всех ее членов полторы тысячи франков в год, считалась благоденствующей и на редкость взысканной милостями судьбы.) Кроме этих колоссальных законных доходов, у Талейрана были и тайные доходы, несравненно более значительные, о точных размерах которых можно лишь догадываться по некоторым случайно ставшим известными образцам. Эти нелегальные доходы исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами. Наполеон, завоевывая Европу и превращая в вассалов и покорных данников даже тех государей, которым он оставлял обрывки их владений, постоянно тасовал и менял этих подчиненных ему крупных монархов и мелких царьков, перебрасывал их с одного трона на другой, урезывал одни территории, прирезывал новые уделы к другим территориям. Заинтересованные старые и новые, большие и маленькие монархи вечно обивали пороги в Тюильрийском дворце, в Фонтенебло, в Мальмезоне, в Сен-Клу. Но Наполеону было некогда, да и не легко было застать его при непрерывных войнах и походах. И, кроме того, он постановлял свои решения, выслушав доклад своего министра иностранных дел.

Можно легко себе представить, какие беспредельные возможности открывались на этой почве пред князем Талейраном. Тут уж дело могло идти не о скромном «сладеньком» (sweetness) в какие-нибудь пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, по поводу которых так неприлично скандалила в свое время неотесанная деревенщина из Соединенных Штатов. Впрочем, даже и эти дикари из девственных прерий очень скоро в конце концов попривыкли к столичному обхождению, и, например, когда Роберт Ливингстон заключал от имени Штатов торговый договор с Францией, то он уже беспрекословно выложил Талейрану предварительно два миллиона франков золотом, во избежание проволочек. (Проволочек не последовало.) Когда Наполеон заключил мир с Австрией (после победы своей при Маренго), то он подарил Талейрану за труды триста тысяч франков, что не помешало Талейрану получить одновременно и от императора австрийского Франца четыреста тысяч франков, а, кроме того, ловко маневрируя с замаскированной контрибуцией, которую должна была уплатить Австрия, он заработал на внезапном подписании и обнародовании мирного (Люневильского) трактата около пятнадцати миллионов франков. Из этих пятнадцати миллионов семь с половиной миллионов были им получены «авансом» (еще во время переговоров). По существу дела далеко не всегда можно определить цифру его взяток. Например, когда Наполеон приказал продать Луизиану Соединенным Штатам, то переговоры о сумме вел Талейран, и американцы вместо восьмидесяти миллионов, о которых шла речь вначале, уплатили Франции всего пятьдесят четыре миллиона: точная цена аргументов, которыми американцы вызвали такую широкую уступчивость со стороны министра иностранных дел, осталась невыясненной и доселе.

Знал ли Наполеон о том, как его обманывает и обворовывает его министр? Конечно знал. Точно так же, как Петр I<sup>15</sup> знал о проделках Александра Даниловича Меншикова. И Наполеон по той же самой причине долго не прогонял прочь Талейрана, по которой Петр не гнал, а только бил Меншикова дубинкой. Наполеон, впрочем, не колотил Талейрана дубинкой, а только один раз (хотя, правда, с чрезвычайно затратой мускульной энергии), схватил его публично за шиворот; но расстался с ним нехотя, нескоро – и не из-за взяток. Очень уж он был нужен и полезен Наполеону. Император, разумеется, знал и презирал Талейрана за его характер и за его «мораль» (если позволительно тут до курьеза нехстати употребить этот термин), но он восхищался тем, как умеет работать эта голова, как умеет она искать и сразу находить разрешение самых сложных и запутанных проблем. А за это он прощал все. В огромной апокрифической литературе о Наполеоне, распространявшейся во Франции уже в половине девятнадцатого столетия, передается фраза, будто бы сказанная Наполеоном относительно Фуше<sup>16</sup> после провокаторского раскрытия одного террористического заговора: «Те, кто хочет меня убить, дураки; а те, кто меня от них спасает, подлецы». Конечно, он ничего подобного не говорил. Но

такой апокриф мог легко возникнуть, потому что всем хорошо было известно, как император относится к Фуше. Талейрана он, в смысле нравственных качеств, приравнивал к Фуше, но в оценке интеллекта, конечно, не ставил их на одну доску.

Полицейская, шныряющая, подпольная хитрость и провокаторская ловкость Фуше были нужны Наполеону для охраны своей жизни, а государственный ум Талейрана был ему нужен для оформления, систематизации и окончательной реализации тех грандиозных задач, в которых Наполеон видел свою историческую славу. Талейран не подсказывал ему, что нужно сделать, но давал превосходные советы о том, как лучше сделать желаемое императором. Талейран, старорежимный вельможа, умел передать как следует повеление Наполеона, умел провести трудное объяснение с иностранными дипломатами без той резкости и казарменной грубости, без тех приступов гнева, которые далеко не всегда были чисто актерскими выходами у Наполеона и которые именно в тех случаях, когда не были умышленным комедианством, очень вредили императору. Талейран жил душа в душу с Наполеоном все первые восемь лет диктатуры, – и что бы он впоследствии ни утверждал, никогда он в эти годы не отваживался остановить Наполеона, уговорить его хоть несколько умерить территориальное и всяческое иное завоевательное грабительство, никогда он не пытался давать советы умеренности и благоразумия, на которые он так щедр задним числом в своих мемуарах. Он изменил Наполеону лишь тогда, когда убедился в своевременности и выгоды для себя этого поступка. Но это было лишь впоследствии. Талейран хотел бы навязать себе в глазах читателей его мемуаров роль шиллеровского маркиза Позы, говорившего правду Филиппу II или (если бы он знал русскую историю) роль, аналогичную позиции князя Якова Долгорукого при Петре, – словом, опасное, но почетное амплуа бесстрашного правдолюбца, видящего честную свою службу в том, чтобы удерживать тирана от необузданного произвола. Эта претензия до курьеза необоснованна: он и пальцем не двинул, чтобы хоть один раз удержать или успокоить Наполеона, предостеречь его от несправедливости или жестокости. Лучшим в этом отношении примером может послужить кровавое дело о казни герцога Энгиенского, с которым крепко связано имя Талейрана, несмотря на упорные его усилия скрыть и извратить истину; а ведь он доходил даже до специальных поисков и истребления официальных документов уже в начале реставрации (в апреле 1814 года).

Роль Талейрана в этой драме такова. Именно Талейран лживо указал Наполеону (в разговоре 8 марта 1804 года), будто живущий на баденской территории герцог Энгиенский руководит заговорщиками, покушающимися на жизнь первого консула, и заявил при этом, что очень легко и удобно приказать начальнику пограничной жандармерии, генералу Коленкуру, просто-напросто послать отряд жандармов на баденскую территорию, схватить там герцога Энгиенского и привезти его в Париж. Маленькое затруднение было в том, что приходилось таким образом среди мира вдруг вопиюще нарушить неприкосновенность чужой территории. Но Талейран сейчас же взялся уладить и оформить дело и написал соответствующую бумагу баденскому правительству, причем, – чтобы не дать герцогу Энгиенскому возможности как-нибудь проведать и бежать из Бадена, – Талейран поручил генералу Коленкуру передать это письмо, полное лживых обвинений, баденскому министру уже после ареста и увоза во Францию герцога Энгиенского. Герцог Энгиенский был схвачен, привезен в Венсенский замок, немедленно судим военным судом и в ту же ночь расстрелян, несмотря на полнейшее отсутствие улик. Сам Наполеон, никогда не любивший сваливать на кого бы то ни было ответственность за свои поступки, через много лет в припадке гнева, как увидим далее, в глаза и публично бросил Талейрану роковые слова: «А этот несчастный человек! Кто мне сказал о том, где он находится? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним?» И Талейран ничего не посмел ответить. Он, таким образом, принял деятельное и по существу инициативное участие в этом кровавом событии. Ему это было нужно, во-первых, чтобы доказать Наполеону ретивость свою в охране его жизни от покусителей, во-вторых, чтобы терроризовать роялистов казнью принца

Бурбонского дома, – так как Талейран продолжал все время опасаться за свою участь в случае реставрации старой династии. Словом, ему это убийство показалось полезным, – он и подтолкнул на это дело Наполеона и активно помог в совершении самого акта.

Это ему нисколько не помешало представить в своих мемуарах дело так, будто он был решительно ни в чем неповинен и всецело осуждал варварский поступок Наполеона. Это ему не помешало также (что гораздо любопытнее и с психологической стороны гораздо затейливее) разыграть впоследствии потрясающую сцену встречи с отцом расстрелянного герцога Энгийенского, сцену, которую и Шекспир не выдумал бы. Дело было в 1818 году, уже при Реставрации. Князь Талейран состоял великим камергером при короле Людовике XVIII, – на той же самой придворной должности, как и при Наполеоне I, – и ему было очень неприятно, что как раз тогда переселился в Париж старый принц Конде, отец расстрелянного за четырнадцать лет до того герцога Энгийенского. Старик все не мог утешиться о потере единственного, обожаемого с детства сына. Предстояла тягостная встреча этого королевского родственника с великим камергером Талейраном. Было неловко. Тогда Талейран очень искусно устраивает себе знакомство с близкой принцу Конде женщиной и рассказывает ей великую и святую тайну, которую доселе скромно хранил в груди своей, но теперь, так и быть, поведает: не только на него напрасно клеветают, укоряя в убийстве герцога Энгийенского, – но он, князь Талейран, даже своей собственной головой рискнул, лишь бы спасти несчастного молодого человека! Да! Он послал письмо с предупреждением герцогу, чтобы тот немедленно спасался, – но герцог не внял совету, остался – и на другой день был схвачен французскими жандармами и увезен в Венсен. Ясно, что, узнав Наполеон об этом отчаянном поступке своего министра, – и голова Талейрана скатилась бы на гильотине. Можно ли требовать от человека большего благородства и великодушия?.. Излишне прибавлять что-либо о полной вздорности этой курьезнейшей выдумки. Но, как это ни странно, принц Конде поверил (не следует забывать, что улики против Талейрана еще не были полностью известны) – и при ближайшей встрече старик бросился благодарить Талейрана за самоотверженные, почти геройские, хотя, увы, и безуспешные усилия спасти его несчастного сына. . . Талейран принял эти изъявления признательности с тем же тактом, с тою же спокойною сдержанностью и достойною скромностью, с какими тогда, при Наполеоне, он принял особые награды (в том числе командорскую ленту Почетного легиона), посыпавшиеся на него вскоре после расстрела герцога Энгийенского. . .

Прошли торжества коронации Наполеона, на которых Талейран играл блестящую и пышную роль, и замелькали феерические события всей императорской эпопеи: непрерывные роскошные балы в Париже и окрестных дворцах, изредка поездки Талейрана в новый, его собственный замок Валансэ, колоссальный и роскошно убранный, поездки в свите императора то в Булонь, откуда готовилось нападение на Англию, то в поход против Австрии, в Вену и к Аустерлицу, то в поход против Пруссии, в Берлин, в Варшаву, в Тильзит, то опять в Париж, где жизнь для осыпаемого милостями и наградами императорского министра протекала в роскоши, в почете, в новых и новых любовных приключениях, в наслаждениях всякого рода, в аудиенциях и доверительных беседах с императором, когда он первый узнавал о предстоящих переменах в судьбах Европы и получал инструкции. По-прежнему он не отваживался противоречить Наполеону, напротив, поддакивал ему во всем, даже не заикнулся, например, о том, что считает губительной континентальную блокаду, провозглашенную Наполеоном 21 ноября 1806 года в Берлине. А он считал ее таковою. Разгром Пруссии сделал Наполеона бесконтрольным хозяином всей Германии. Все пресмыкались во прахе пред ним – и все чаяли себе спасения, только в милостивом заступничестве со стороны Талейрана. Наполеон, довольный преданностью и полнейшей вассальной покорностью со стороны саксонского курфюрста, пожаловал ему королевский титул. Он собирался сначала увезти из знаменитой Дрезденской картинной галереи все лучшие картины в Париж. Новоиспеченный король в ужасе бросился к Талейрану, который, выбрав хорошую минуту, обратил внимание Наполеона на то, как огорчительно будет

для верного саксонского союзника, если у него вдруг отнимут и увезут его галерею. «Да, он превосходный человек, не следует его огорчать. Я дам приказ ничего там не трогать», – сказал император – и галерея была спасена. Саксонский король в знак благодарности за все эти милости дал Талейрану миллион франков золотом. Вообще говоря, золотой дождь продолжал литься на министра иностранных дел. Тратил он деньги без счета и на украшение своего великолепного замка в Валансэ и дворца в Париже, и на волшебные роскошные балы, банкеты и ужины, где бывало по пятьсот человек приглашенных, и на охоты, и на карточную игру, – а новые и новые груды золота пополняли его кассу.

Но в эту новую войну, 1806 и 1807 гг., Талейран стал впервые серьезно ставить перед собою один жуткий вопрос: чем все это кончится? Правда, счастье продолжало сопутствовать Наполеону. Пруссия была раздавлена и ампутирована Тильзитским трактатом так, что от нее остался лишь какой-то небольшой обрубок; русские армии были разбиты, в Тильзите Александр принужден был вступить с Наполеоном в союз. Но Талейран хорошо помнил недавнее страшное побоище при Эйлау, где легло много десятков тысяч с каждой стороны и где, в сущности, русские вовсе не были разбиты, вопреки наполеоновскому бюллетеню. Он с беспокойством провел эти четыре месяца между Эйлау и Фридрихсвандом. Все в конце концов обошлось и на этот раз благополучно, с новой славой, новым блеском, новым приращением могущества. Но надолго ли? Талейран видел ясно, что на этом пути остановиться трудно и что Наполеон идет прямою дорогою к созданию мировой империи, которая для своей консолидации потребует опрокинуть два оставшихся препятствия – Англию и Россию. Князь убежден был, что дело затеяно фантастическое, несбыточное и что Наполеон не может не погибнуть, если будет упорствовать. Именно этим соображениям Талейран и приписывает внезапную свою отставку, последовавшую сейчас же после Тильзитского мира, 10 августа 1807 года. Именно ненасытная завоевательная жадность Наполеона в Тильзите и заставила Талейрана решиться на этот шаг. «Я не хочу более быть палачом Европы», – якобы сказал при этом уходящий министр. В тираническом самовластии победителя Европы он видел неминуемый зародыш новых войн и конечной его гибели и хотел вовремя отойти и «думать о будущем». Таково объяснение отставки со стороны наиболее заинтересованного лица. Послушаем теперь объяснение Наполеона: «Это талантливый человек, но с ним ничего нельзя сделать иначе, как платя ему деньги. Король баварский и король вюртембергский приносили мне столько жалоб на его алчность, что я отнял у него портфель». Где же правда? Как иногда (далеко не всегда) бывает, истина на этот раз, вероятно, обретается «посредине». Талейрана в самом деле напугал Тильзит именно тем, что полная победа над всей Западной Европой и одновременное принуждение Александра к союзу делало Наполеона полным хозяином поработанного европейского континента, что, по существу дела, не могло не быть причиной новых отчаянных и кровопролитнейших войн; и действительно, министр уже искал для себя нужного положения в том далеком будущем, когда выгоднее будет быть не с Наполеоном, а против Наполеона. Он поэтому непрочь был уйти после Тильзита, может быть даже еще после Эйлау. Но, с другой стороны, прав по-своему и Наполеон, полагавший, что это он, император, прогнал Талейрана за слишком бесцеремонные вымогательства у вассальных королей. Было и то и другое. Наполеон, конечно, стал выговаривать Талейрану по поводу этих грабительских и взяточнических поступков. Но ведь он не в первый, а в десятый раз говорил со своим величавым министром на эту щекотливую тему, – и тот всегда умел тактично выслушать, с достоинством раскланяться и сановито помолчать или перевести разговор на более мирные предметы. Но на этот раз, когда Талейран уже сам подумывал об уходе, он, конечно, мог ухватиться за предлог, мог обнаружить обидчивость и подать в отставку. Он это и сделал так тонко и умно, что еще сам же Наполеон почел нужным щедро вознаградить своего уходящего министра, и спустя четыре дня после подачи в отставку император дал указ сенату, которым объявлял о назначении Талейрана, князя Беневентского, великим вице-электором, с титулом «высочества» (как принцы императорской фамилии) и с

наименованием «светлейшего» (*serenissime*), а сверх того с окладом в триста тысяч франков золотом в год. Обязанности же состояли лишь в том, чтобы являться в торжественные дни ко двору в костюме из красного бархата с золотым шитьем и белых атласных панталонах и становиться сбоку около императорского трона. Все это очень устраивало Талейрана. Можно было издали и в безопасности ждать развития событий, отделив отныне личную свою судьбу от судьбы Наполеона, с которым, однако, после этого милостивого назначения отношения установились самые лучшие.

Вообще Талейран решил, что есть полная возможность, уже не неся никакой формальной ответственности, пользоваться беспрепятственно всеми выгодами, которые может дать близость к императору. Затеял Наполеон в 1808 году (собственно еще в 1807 году, сейчас же после Тильзита) завоевание Испании и Португалии; Талейран и тогда и впоследствии относился к этому предприятию, как к проявлению самого дикого, возмутительного и, главное, ненужного произвола, так как обе династии, царствовавшие на Пиренейском полуострове – и Браганца в Португалии и Бурбоны в Испании, – рабски повиновались Наполеону, трепетали от каждого его слова, ловили на лету его приказы, угадывали и исполняли все желания. Когда затем испанский народ начал совсем неожиданно свое яростное сопротивление завоевателю, – тогда и подавно Талейран стал смотреть на этот непотухавший пожар народной войны в Испании, как на начало грядущей катастрофы великой империи; он все это весьма красноречиво излагает и в своих мемуарах, и в разговорах с современниками (которым доверял, вроде госпожи Ремюза<sup>17</sup>), – но самого Наполеона он не только не предостерег от гибельного шага, а, напротив, похваливал его, льстил ему и все норовил урвать что-нибудь и для себя лично от этого нового наполеоновского завоевания. Словом, он столь верноподданнически и преданно поддакивал императору, что тот, захватив Фердинанда, наследника испанского и еще двух принцев испанского дома в Байонне (куда завлек их обманом), отправил этих испанских принцев в качестве пленников в замок Талейрана, в Валансэ, где они и прожили почти до конца империи. Талейран с горечью говорил впоследствии в мемуарах, что император выбрал его поместье, «чтобы сделать его тюрьмой» для испанских Бурбонов. Талейран забывает при этом прибавить, что, очевидно с целью хоть несколько смягчить свою великодушную скорбь по этому поводу, сам он спустя некоторое время стал настойчиво выпрашивать у казны два миллиона франков на ремонт замка Валансэ, якобы необходимый ввиду содержания там принцев. На самом деле колоссальнейший и уже до той поры роскошно убранный и меблированный замок с многочисленными пристройками ни малейшего ремонта не требовал для размещения трех человек и нескольких служителей. На их содержание, впрочем, деньги обильно отпускались казною с первых же дней их плена.

Испанский пожар начинал разгораться. Европейские вассалы и коронованные рабы Наполеона, глядя на Испанию, начинали смутно надеяться; ходили слухи об австрийских вооружениях; в германской университетской молодежи возникало брожение против грозного завоевателя. И вдруг Талейран получает извещение, что Наполеон желает взять его с собою, хоть он уже и не министр, в Эрфурт, на свидание с Александром I. Так наступил решающий миг в судьбе Талейрана.

Александр Павлович, император всероссийский, ехал в Эрфурт к Наполеону в сентябре 1808 года в не весьма бодром состоянии духа. Пред самым отъездом он получил большое письмо от матери. Мария Федоровна выражала в этом письме не только общедворянские и общепридворные, озлобленные и растерянные настроения касательно дружбы и союза с французским завоевателем, но и еще более острые, злободневные тревоги, вызванные этою поездкою царя в далекий город, занятый наполеоновскими войсками. У всех свежо было в памяти, как всего четыре месяца пред тем, в мае того же 1808 года, дружески приглашенная Наполеоном в Байонну испанская королевская семья была в полном составе предательски арестована и разослана – кто в Фонтенебло, кто (как упомянуто выше) в замок Валансэ. Где было руча-

тельство, что Наполеон не проделает того же в Эрфурте с Александром, который будет там всецело в его руках? Экономические интересы русского дворянства и купечества жестоко подрывались навязанной Наполеоном России континентальной блокадой и прекращением сбыта русского хлеба и сырья в Англию. В Зимнем дворце получались анонимные письма, которые напоминали царю об участии его отца, Павла, именно как только он тоже вступил в дружбу с Бонапартом. Рубль быстро упал до одной пятой своей прежней стоимости. . . Конечно, Александр ответил своей матери твердо и обстоятельно, подчеркивая необходимость оставаться в мире с колоссальной Французской империей. Аустерлиц, Фридланд и Тильзит, две проигранные войны и позорный мир научили осторожности. Но особенно хорошего от свидания с «союзником» ни Александр I, ни его свита не имели оснований ожидать. Мощь Наполеона казалась в тот момент монолитною гранитною скалою. На континенте царило безмолвие, прерываемое только неясными слухами, шедшими из далекой Испании, – слухами о поголовном крестьянском восстании, о яростных партизанах и массовых расстрелах этих партизан французами. Но остальная Европа покорялась, страшилась и молчала.

28 сентября 1808 года оба императора съехались в Эрфурте. В свите Наполеона было столько королей и прочих монархов, французская императорская гвардия была так огромна и великолепна, смотры и парады, чуть не по два в день, были так блестящи, что впечатление несокрушимого могущества Наполеона должно было еще более усилиться у русских гостей. И вот Александра ждало одно изумительнейшее и абсолютно неожиданное для него происшествие.

Когда он сидел вечером, после одного из этих утомительных парадных эрфуртских дней, в гостиной княгини Турн-и-Таксис, туда пришел Талейран и повел странные речи.

Нужно сказать, что до тех пор личные отношения между Александром и Талейраном не отличались никакою особою теплотою. Александр прекрасно помнил, что именно Талейран нанес ему кровное оскорбление в 1804 году знаменитым своим ответом на протест Александра по поводу нарушения неприкосновенности баденской территории и ареста герцога Энгиенского. Талейран тогда ответил в таком духе, что, мол, если бы Александр узнал, что убийцы его покойного отца, Павла I, находятся недалеко от русской границы, хотя бы на чужой территории, и если бы Александр велел их схватить, то Франция не протестовала бы. Александр знал, что это написано было тогда по повелению Наполеона, но все-таки именно Талейран составлял эту ноту с прямым намеком на участие Александра в убийстве отца.

И вот теперь, в Эрфурте, этот самый оскорбитель, этот самый князь Талейран без особых предисловий и объяснений говорит русскому царю: «Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ – цивилизован, французский же государь – нецивилизован; русский государь – цивилизован, а русский народ нецивилизован, следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа». Это была увертюра, за которой последовало еще несколько секретных свиданий. Конечно, с чисто внешней стороны дело представляется так, что Талейран, начиная подобную беседу, ставил на карту свою голову: он совершал в самом точном смысле слова государственную измену, и решительно ничто не гарантировало его от возможности быть на другой же день арестованным. Стоило только Александру захотеть доказать Наполеону свои дружеские чувства откровенным рассказом о поступке Талейрана – и Талейран погиб бы безнадежно. Но ум Талейрана и его способность точно оценивать чужую натуру помогли ему и тут. Никогда он не оправдывал собою поверхностного ходячего афоризма о том, будто человек судит о других людях по себе. Если бы он судил других по себе, то никогда не решился бы так, без предварительных зондирований и гарантий, совершить этот опасный шаг в Эрфурте. Но он твердо знал, что Александр ни за что его не выдаст, что с этой стороны риска нет, и не потому, что Александр вообще так чист душою и безупречен, – напротив, Талейран был, например, вполне убежден, что Александр принял участие в убийстве

своего отца и сделал это для того, чтобы получить корону, – а просто потому, что у каждого свои особенности, наклонности и методы действия и что предать на гибель доверившегося ему человека не есть прием, свойственный Александру, даже если царь и не сообразит, что ему выгодны сношения с князем. Точно так же, например, Наполеон, присваивая себе чуть не ежедневно и войною, и без всякой войны чужие страны и грабя чужие народы, в то же время с гадливостью относится (Талейран знал это по грустному опыту) к малейшей попытке своих ближних принять от просителя то «сладенькое» (*les douceurs*), из-за которого вышел тогда, как сказано, скандал с американцами: брать открыто – хорошо, а украдкой постыдно. Словом, все дело в том, чтобы понять, какой кому свойствен жанр и какие у кого брезгливости. Такова была всегда философия князя Талейрана, и она его не обманула и на этот раз.

Для Александра поступок Талейрана был целым откровением. Он справедливо усмотрел тут незаметную еще пока другим, но зловещую трещину в гигантском и грозном здании. Человек, осыпанный милостями Наполеона, со своими богатствами, дворцами, миллионами, титулом «высочества», царскими почестями, вдруг решился на тайную измену! Любопытно, что Александр в Эрфурте больше слушал Талейрана, чем говорил с ним сам. Он почти все время молчал. Он, по-видимому, сначала не вполне исключал и возможность провокационной игры, зачем-либо затеянной Наполеоном при посредстве князя. Но эти подозрения скоро рассеялись. Наполеон не подозревал ничего. Каждый день императоры были вместе, обменивались любезностями, демонстративно обнимались, производили вдвоем смотры и парады; каждое утро Наполеон интимно совещался с командором Почетного легиона Талейраном о том, как получше укрепить франко-русский союз, – и почти каждый вечер в уютной квартире княгини Турн-и-Таксис кавалер Андрея Первозванного Талейран информировал Александра и вдохновлял его на борьбу с Наполеоном. Рейн, Альпы, Пиренеи – вот завоевание Франции, остальное – завоевания императора; Франция в них не заинтересована (*la France n'y tient pas*), повторял он Александру. «Остальное» – это были: Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Голландия, почти вся Германия, половина Австрии, Польша, часть Балканского полуострова, земли от Лиссабона до Варшавы, от Гамбурга до Ново-Базарского санджака, от Данцига до Неаполя и до Бриндизи. Талейран, от имени Франции, от всего этого отказывался; все это он как бы отдавал в награду тем, кто избавит Францию от Наполеона. Александр видел вместе с тем, что Наполеон вполне доверяет своему бывшему министру, что вообще эта тогда многим непонятная отставка ничего фактически не изменила во влиянии Талейрана на французскую внешнюю политику. Именно через Талейрана там же, в Эрфурте, Наполеон довел впервые до сведения Александра, что собирается разводиться с Жозефиной и искать себе новую жену среди сестер Александра. Утром Талейран по повелению Наполеона составлял и окончательно редактировал проект конвенции между Россией и Францией, а вечером тот же Талейран выбивался из сил, доказывая колебавшемуся Александру, что не следует эту конвенцию подписывать, а нужно сначала выбросить такие-то и такие-то пункты. Царь так и поступил. Наполеон не понимал, чем объяснить это внезапное упрямство, обнаруженное Александром, и все жаловался Талейрану, приписывая это странное явление неблагоприятному обороту, который принимала народная война в Испании; и Талейран почтительно при этом соболезнавал его величеству...

Он пошел по новой дороге бесповоротно. Читателей своих мемуаров он хочет уверить, что имел при этом в виду единственно благо Франции в будущем. Конечно, он думал о себе, а не о Франции. Но объективно это было решительно все равно: он предвидел неминуемую катастрофу в самые блестящие годы мировой империи, за шесть лет до ее окончательного крушения. Вернувшись из Эрфурта в Париж, он завел тайные переговоры с Меттернихом и продолжал путем конспиративных писем сношения с Александром. Корреспонденция эта была, конечно, строго законспирирована, и Талейран обозначался самыми разнообразными именами. Он передавал, что нужно, члену русского посольства Нессельроде<sup>18</sup>, а тот уже писал

Александрю, называя Талейрана иногда «кузеном Анри», иногда «нашим книгопродавцем», а иногда «Анной Ивановной». Дело шло о жизни и смерти Талейрана, и необходима была в письмах самая крайняя осторожность. Сношения с Меттернихом были еще опаснее: готовилось новое столкновение с Австрией, которая решила воспользоваться грозно бушевавшей в Испании народной войной против Наполеона.

Позиция Талейрана не могла долго укрываться от министра полиции Фуше. Он не знал, конечно, всего об изменнических сношениях Талейрана с Россией и с Австрией, но он знал о том, как отрицательно отзывается Талейран о безумном завоевании Пиренейского полуострова, об опасностях наполеоновского безудержного произвола во внешней политике и так далее. И вот, к изумлению всего великосветского Парижа, разнеслась весть о тесном сближении, чуть ли не дружбе между обоими государственными людьми. Действительно, Фуше стал убеждаться в правильности предвидений Талейрана и решил, по-видимому, не бороться с ним, а занять позицию внимательного и как бы дружественного нейтралитета. Но у Наполеона было несколько полиций: одна во главе с Фуше, следившая за всем населением империи, и другая, еще более тайная, следившая за самим Фуше. И был еще Лавалетт<sup>19</sup>, главный директор почт, который следил за этой другой полицией, следившей за Фуше.

Таким путем император в середине января 1809 года, в разгаре кровопролитнейшей войны с испанскими «мятежниками» (то есть испанскими крестьянами, решившими защищать свою землю), в глубине Пиренейского полуострова получил разом несколько известий, сводившихся к следующим двум основным данным: во-первых, Австрия секретно с лихорадочной поспешностью вооружается, сильно надеясь на трудное положение, в которое попал Наполеон в Испании; во-вторых, Талейран и Фуше о чем-то подозрительно сговариваются, причем Талейран недружелюбно отзывается о политике императора. Сейчас же Наполеон передал командование армиями своим маршалам, а сам помчался в Париж. Едва приехав, он приказал главным сановникам и некоторым министрам явиться во дворец. Тут-то, 28 января 1809 года, и произошла знаменитая, сотни раз приводившаяся в исторической и мемуарной литературе сцена, о которой некоторые присутствовавшие не могли до гробовой доски вспоминать без содрогания. Император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана. «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек! – бешено кричал он. – Вы не верите в бога, вы всю вашу жизнь нарушали все ваши обязанности, вы всех обманывали, всех предавали, для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца! Я вас осыпал благодеяниями, а между тем вы на все против меня способны! Вот уж десять месяцев, только потому, что вы ложно предполагаете, будто мои дела в Испании идут плохо, вы имеете бесстыдство говорить всякому, кто хочет слушать, что вы всегда порицали мое предприятие относительно этого королевства, тогда как это именно вы подали мне первую мысль о нем и упорно меня подталкивали! А этот человек, этот несчастный? Кто меня уведомил о его местопребывании? Кто возбуждал меня сурово расправиться с ним? Каковы же ваши проекты? Чего вы хотите? На что вы надеетесь? Посмейте мне это сказать! Вы заслужили, чтобы я вас разбил, как стекло, и у меня есть власть сделать это; но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд! Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы – грязь в шелковых чулках!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.